

Гамира

ВЕДЬМИНА ДОЧКА

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ССЫЛКЕ В ДЕРЕВНЮ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Тамира

**Ведьмина дочка. Практическое
руководство по ссылке в деревню**

«Автор»

2026

Тамира

Ведьмина дочка. Практическое руководство по ссылке в деревню /
Тамира — «Автор», 2026

Маше семнадцать. Условный срок за хранение, два исключения из школы, которая в деревне Заречье выглядит не круто, а жалко, как наклейка на школьной тетради. Мать спланировала её к дальней родственнице — пересидеть, забыть, вернуться «нормальной». Но баба Вера — не просто старуха. Она последняя ведьма в роду, а Маша — следующая. Та злость, что жгла изнутри семнадцать лет, та девочка, облысевшая после Машиного проклятия, — не подростковый бунт, а сила. Родовая. Голодная. Которую мать задавила ради фитнес-клуба и ипотеки, а в дочери она проснулась. Теперь Маше предстоит научиться договариваться с крапивой, пройти проверку лешим, не облажаться с участковым Шишовым и главное — не дать зверю внутри сожрать себя. А ещё есть кот Борисыч. Чёрный, одноглазый, с выражением «ну идиотка» во взгляде. И он — единственный, кто не врёт. Сила не спрашивает разрешения. Она просто есть. Как земля. Как небо. Как смерть. Можно не хотеть. Можно сбежать. Но от себя не убежишь.

© Тамира, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Крапивное семя	5
Глава 2. Навья сторона	8
Глава 3. Городская ведьма	10
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Тамира

Ведьмина дочка. Практическое руководство по ссылке в деревню

Глава 1. Крапивное семя

Маша выкинула недокуренную сигарету в окно маршрутки и тут же пожалела.

Не потому что курила — она всегда курила. А потому что за окном кончалась Москва.

Та самая Москва: шумная, злая, пахнувшая бензином, дешёвым фастфудом и свободой. Теперь за окном было поле. Огромное, наглое, до горизонта. По обочинам стояли коровы. Просто стояли. Как столбики.

Коровы-столбики. Коровам было абсолютно всё равно, что существует маршрутка, Москва, Маша и весь остальной мир.

«Значит, и мне можно», — подумала Маша. И себе же не поверила. Всё ей было не всё равно. Всё. Просто об этом никто не знал — а узнай, порвали бы.

Ей было семнадцать. Полгода условного срока за хранение — подбросил бывший, а судьёю интересовал факт, а не справедливость. Судье вообще всегда было интересно что угодно, кроме правды.

Два исключения из школы: первое — за драку, второе — за «систематическое неуважение к педагогическому составу». В переводе с канцелярского на русский это означало, что Маша послала учительницу литературы на три буквы, когда та с преподавательским апломбом спросила, почему она не прочла «Войну и мир».

— Толстой не осилил, а меня хотите осилить? — сказала тогда Маша.

Учительница побагровела. Директор побледнел. Машу исключили.

Классика: виновата всегда та, кто ответил.

Родители — мать-администратор фитнес-клуба и отец-менеджер по продаже окон — заплатили адвокату и молчали ровно до тех пор, пока не кончились нервы. Нервы кончились, и они постановили: проще отправить дочь к дальней родственнице в деревню, чем пытаться воспитывать.

Маша не спорила. Во-первых, спорить было не с кем — попытки завести в их семье разговор заканчивались одинаково: папа смотрел телевизор, мама смотрела на папу. Во-вторых, честно говоря, от таких родителей в деревню — как на курорт.

— Выходи, — сказал водитель, не оборачиваясь. — Твоя остановка. Конечная.

— Как — конечная? Дальше-то куда?

— Дальше пешком. Три километра по грунтовке. Направо повернёшь, потом прямо. Табличку увидишь — там и есть.

— А назад?

— А назад, милая, завтра. Утренний. Если дождь не будет.

Он подмигнул в зеркало. Маша не подмигнула в ответ: она смотрела на этот подмигивающий затылок и думала, что через три километра, наверное, всё закончится. Жизнь. Или хотя бы терпение.

Она закинула на плечо тяжёлый рюкзак с вышитым черепом — триста рублей с Алиэкспресса, единственная вещь, к которой она была по-настоящему привязана. Внутри: три футболки (две чёрные и одна серая — цветное Маша не носила принципиально), пауэрбанк, «Винстон», наушники и полпачки снюса в потайном кармане.

Снюс она начала жевать полгода назад, когда всё полетело к чертям. Не потому что нравилось — противно, как жевать табачный бычок. Потому что успокаивал. Как валерьянка, только для подростков.

У каждого свои способы выжить: мать пьёт вино, отец врёт, Маша жуёт снюс. Все счастливы. Ну, как счастливы. Все заняты.

Три километра по грунтовке. Солнце било в лицо, кеды промокли насквозь, потому что грунтовка оказалась не грунтовкой, а болотом с амбициями. Маша материлась тихо, сквозь зубы, как умеют только москвичи: у них мат не ругань, а пунктуация.

Табличка.

«д. Заречье».

Ниже — чьей-то твёрдой рукой, маркером: «Осторожно, злые духи».

Ещё ниже, другим почерком, каллиграфическим, с завитушками: «И злые бабки».

— Афигенно, — фыркнула Маша вслух.

Ну хоть с чувством юмора тут всё в порядке. Это уже больше, чем в её школе.

Деревня была как из фильмов, которые показывают по телевизору в три часа ночи, когда все нормальные люди спят. Покосившиеся дома, резные наличники, которые когда-то были красивыми, а теперь скалились, как зубы. Заборы пьяные, кривые, подпёртые столбами и надеждой. Крапива везде, высокая, по пояс, злорадная. Маша, из растений знавшая только то, что курят, и то, что кладут в салат, если очень голодна, подумала, что в этой крапиве можно спрятать труп. Или двоих. Или целую банду.

Она шла по единственной улице, гордо называвшейся Центральной, и думала: а если я здесь помру от скуки, от тоски, от отсутствия вай-фая — кто-нибудь заметит?

Спойлер: нет.

Мать не будет. Мать сейчас улыбается клиентам, говорит: «Хорошего дня!» — и ненавидит их всех за то, что они здоровые, спортивные, нормальные. А вечером нальёт бокал, второй, позвонит подруге, скажет: «Я справляюсь. Я — сильная женщина» — и уснёт перед телевизором. Мать не будет искать. Мать будет рада, что проблема решена.

Отец тем более. Отец вообще не будет, потому что отца, по сути, нет. Есть мужчина, который живёт в той же квартире, ест за тем же столом, но которого Маша не видит и не чувствует. Мебель. Стоит, занимает место. Чтобы искать кого-то, надо сначала выйти из зоны комфорта, а зона комфорта — единственное место, где отец чувствует себя в безопасности.

Серёга. Нет. Серёга сказал: «Извини, малая, у меня сама знаешь». Она знала. Она не обиделась. Поняла. Но от понимания не легче — от понимания только хуже. Понимаешь, что ты — обуза.

Крайний дом. Номер один. Табличка на одном ржавом гвозде, который давно пора было заменить. Калитка — на одной петле и молитве.

Из дома вышла старуха.

И Маша застыла.

Не потому что старуха была страшной — Маша видела страшное, она жила в Москве. А потому что старуха была не такой. Не как все.

Чёрный платок, завязанный узлом надо лбом. Лицо в морщинах, как растрескавшаяся земля. Тонкие губы, острый подбородок, нос крючком. И три зуба — два снизу, один сверху, — от которых хотелось одновременно смеяться и бежать.

Но глаза. Глаза были то, от чего бежать хотелось больше всего. Тёмные, глубокие, как колодцы, в которые нельзя уронить камень — звука не будет. Эти глаза смотрели на Машу и видели. Не куртку и не пирсинг. Внутреннее. Всё «нет» и «не хочу», всё, из-за чего всё началось. Всё, что Маша прятала.

— Ты, значит, Мария? — голос низкий, прокуренный, с хрипотцой. — Мать звонила. Предупреждала, что везёт мне счастье.

— Я не счастье, — буркнула Маша. — Я наказание.

— Это я уже поняла. — Старуха усмехнулась. Тремя зубами. — Проходи, поганка. Чай пить будем.

— Я кофе пью. Чёрный. Без сахара.

— Будешь пить, что дают. — Старуха развернулась и пошла к дому. — И курить бросишь. У меня во дворе не курят.

— А где?

— В поле. Или в лесу. Но если в лесу начнёшь, леший может обидеться. А он у нас злопамятный.

— Леший, — хмыкнула Маша. — Серьёзно? Вы серьёзно?

Старуха не обернулась. Просто шла — медленно, тяжело, опираясь на кочергу, которую держала, как скипетр. И в этой спине, в этом «не обернусь, потому что и так знаю, что пойдёшь» было что-то такое... Не начальник. Не учительница. Не мать, которая кричала. Древнее. Как если бы сама земля сказала: «Иди» — и Маша пошла.

Она затушила сигарету о столб, сунула бычок в карман и пошла следом.

Вариантов не было. Денег — копейки. Связей — ноль. Друзей — нет. Семья — формально есть, фактически нет. Семнадцать лет, условный срок, татуировка «Live fast, die young» на запястье, которая сейчас казалась не крутой, а жалкой, как наклейка на школьной тетради.

Маша вошла в дом.

Всё, что она знала о жизни, устарело примерно полчаса назад.

Глава 2. Навья сторона

Внутри изба пахла так, что у Маши закружилась голова.

Не так, как она ожидала. Она ожидала барак, плесень, прокисшие щи, кошачью мочу, ту же безнадежность, только в закрытом помещении. Вместо этого — удар. Мята, зверобой, что-то горькое, что-то сладкое. Сушёные грибы под потолком, пучки трав на стенах, и что-то ещё — тяжёлое, древнее, от чего хотелось одновременно чихать и молиться.

Маша не чихала и не молилась. Она пялилась.

На стенах — рядом с иконами, в красном углу, — висело то, чему в храме место? Рогатые фигурки из коряг. Женщины с руками вверх, как на аэробике, только не на аэробике. Звери на задних лапах. Берёзовая ветка в круге с вороньим пером. Рядом с Николаем Угодником. Как будто Николай и не возражал. Как будто ему было всё равно, а может, он и сам тут был не просто так.

— Чего застыла? — старуха кивнула на лавку. — Садись.

Маша села. Лавка была жёсткой, деревянной, такой, на которой в девятнадцатом веке рожали и умирали. Но от печи шло тепло, и Маша почувствовала, как расслабляются мышцы, которые были напряжены последние полгода. Последние три года. Всю жизнь, если честно.

— Пей, — старуха поставила перед ней кружку. Глиняную, грубую, не из IKEA. Внутри — что-то тёмное, густое, похожее на компот, если компот сварил человек, который ненавидит сахар.

— Это что?

— Отвар. Черника, крапива, девясил. Для очищения.

— От чего?

— От твоей дурной крови.

Маша фыркнула. Подняла кружку, понюхала. Пахло лесом и валерьянкой, которую мать пила от «нервов» — каждый вечер, запивая бокалом вина, и убеждая себя, что это не алкоголизм, а «профилактика стресса».

— Я не буду это пить, — сказала Маша. — Я кофе пью. Или энергетики. Или хотя бы чай, но нормальный, из пакетика, а не это ваше... зелье.

— Будешь, — старуха сказала это так, что Маша поняла: будет. Не угрожала. Не заставляла. Просто — будет. Как солнце встаёт. Как притяжение. Бывает.

Она сделала глоток. Горько. Кисло. Травяное. Мерзость.

Но внутри тепло. Как будто кто-то зажёл свечу. Маленькую, в самом центре, там, где было темно и холодно последние... сколько? Года? Всегда?

— Я тебя вижу, Мария, — старуха сказала это спокойно, как сказала бы «хлеб на столе». — Не глазами. Ты не просто так бесилась. В тебе сила. Родовая. Моя, между прочим.

Маша поставила кружку. Посмотрела на старуху. Усмехнулась той усмешкой, которая в Москве работала безотказно: щит, броня, стена, «ты мне не нужна, и я тебе не нужна, и все свободны».

— Какая сила? Я не ведьма. Я в это не верю. Травы, привороты, гороскопы — всё это фуфло для лохов.

— А тебе повезло? — старуха не повысила голос. Не меняла тон. Просто спросила, и каждое слово упало, как камень. — С условным сроком? С двумя исключениями? С родителями, которые тебя спланировали?

Маша открыла рот. Закрыла. Сжала челюсть.

Старуха была права. И от этого хотелось ударить. Кулаком по столу, по стене, по лицу — по чему угодно, лишь бы заглушить правду, которая звучала, как будильник в шесть утра: противно, громко и от неё некуда деться.

— Сила — это не метла и не чёрный кот, — продолжала старуха, как будто ничего не произошло. — Сила — это когда чувствуешь, что человек врёт. Или когда знаешь, что за дверью кто-то стоит, хотя никого нет. Или когда злишься, и у того, на кого злишься, что-то случается. У тебя такое было?

Маша молчала.

Было.

Конечно, было.

Она всегда знала, когда мать вернётся злая — Маша обладала особым чутьём на возвращение матери в плохом настроении.. У злости был запах — тяжёлый, кислый, как скисшее молоко. Маша чуяла его за минуту до того, как мать открывала дверь.

Она чувствовала, когда отец врал — не по глазам, а по воздуху. Воздух вокруг вруна становился тонким, прозрачным, как стекло, которое вот-вот треснет.

Сны — те, что сбывались. За неделю до того, как отца уволили, ей приснился пустой офис, в котором ветер шевелил бумаги. За два дня до суда — чёрная вода, поднимающаяся от ног к горлу.

А в тринадцать — девочка. Одноклассница. Разбила Маше нос — просто так, на перемене, «потому что не в том тоне ответила». Маша сидела в туалете, зажимая кровь салфеткой, и пожелала — всем сердцем, всей обидой — чтобы у той выпали все волосы.

Через неделю у той началось облысение. Врачи — «алопеция», «стресс», «гормональный сбой». Ничего не помогало. Волосы осыпались клоками.

Маша знала. Ей было страшно. Она больше никогда не желала зла вслух. Только мысленно. И проверяла — сбывается? Иногда — да. Иногда — нет. Закономерности не нашла. От этого было ещё страшнее.

— Было, — сказала она. Тихо, как будто признавалась в преступлении.

— Вот, — старуха кивнула. — Твоя мать эту силу задавила. Ей комфортнее было в городе, среди пластика и стеклопакетов. Она выбрала быть «как все». А ты не задавила. Потому и бесилась. Сила искала выход, а ты её заперла. Вот она и была злостью, бессонницей, желанием всё сломать. Ты не трудный подросток, Мария. Ты непроснувшаяся ведьма. А это, поверь, хуже.

— И что теперь? — Маша старалась, чтобы голос не дрогнул. Внутри всё сжалось. От страха. И от другой вещи, которую не хотела признавать. Надежды. Маленькой, жалкой, как та свеча, которая зажглась от отвара. Надежды, что она не ошибка. Не брак. Не сломанная. А просто — другая.

— Теперь будешь учиться. Жить здесь, помогать, слушать. Через месяц вернёшься в Москву. Если получится — нормальной. Если нет — останешься.

— Навсегда?

— Сила не спрашивает «навсегда». Она как собака: не кормить — сожрёт хозяина. Ты уже тринадцать лет не кормила. Чуть не сожрала. Теперь проснулась. Поняла?

Маша молчала. Смотрела на руки — тонкие, с обкусанными ногтями, с татуировкой «Live fast, die young», которая сейчас казалась такой же дешёвой и фальшивой, как её дерзость, как её «мне всё равно», как вся её жизнь, которую она строила, как дом из карт, — и каждый раз, когда карты падали, она говорила: «Ну и ладно, мне всё равно», — и строила заново.

Только сейчас, в этой избе, с этой старухой, с этим отваром, который грел изнутри, карты падать не хотели. Они стояли. Другие. Незнакомые. Страшные.

— Пей давай, — голос старухи смягчился. Чуть. На полтона. Но Маша заметила.

Она взяла кружку. Глоток. Горько. Но тепло — внутри, глубокое, как будто кто-то открыл дверь. Дверь, о которой Маша не знала. За дверью — темно. Но в темноте — кто-то дышал.

И Маша подумала: а что, если это — я?

Глава 3. Городская ведьма

Ночью Маша не спала.

Не потому что не могла — она не спала последние три года, и бессонница стала ей как соседка по квартире: бесячая, но знакомая. В Москве бессонница была из-за шума. Здесь — из-за тишины.

В Москве всегда было шумно. Машины, соседи, перфоратор — божий подарок всему подъезду, который работал по графику: с восьми утра до десяти вечера, с перерывом на обед, как положено. Басы из квартиры снизу, «Король и Шут» из окна напротив, чья-то ссора, чей-то телевизор, чей-то плачущий ребёнок. Маша засыпала под этот шум, как под одеялом. Шум говорил: ты не одна. Вокруг люди. Пусть они тебе не нужны, но они есть. И ты — живёшь.

Здесь не было ничего.

Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Как после концерта, когда выходишь на улицу, и в голове ещё гремит, а вокруг пустота. Только здесь в голове не гремело. Здесь было чисто. Чисто и пусто, как в квартире, из которой вынесли мебель. Маша лежала и слушала эту пустоту, и пустота слушала её.

Где-то далеко лаяла собака. Лениво, без энтузиазма, как сотрудник, который делает вид, что работает. За стеной тикали часы — старые, с гирями, которые баба Вера завела перед сном, и каждое «тик» было как удар молотком по виску. Маша считала: раз, два, три... потом перестала, потому что от счёта хотелось заорать.

Она лежала на широкой деревянной кровати, укрытая шерстяным одеялом, которое колелось, как ёжик, но грело так, что можно было не включать батарею. В Москве батарея грела по расписанию. Здесь одеяло грело всегда. Без расписания. Без ЖЭКа. Маша подумала, что, если бы всё в жизни работало так же надёжно, как это одеяло, у неё не было бы проблем.

В углу комнаты стоял сундук. Старый, обитый железными полосами, с замком — настоящим, тяжёлым, как будто внутри хранили не бельё, а золото. Или труп. Маша не стала проверять. Не потому что боялась, а потому что было лень. И потому что, если там труп, лучше не знать.

На стене висело вышитое полотенце. Не с цветочками-розочками, а с ромбами, крестами, спиралями, от которых рябило в глазах. Маша смутно помнила, что учительница истории однажды назвала такие узоры «обережными». Тогда Маше было плевать. Сейчас эти спирали казались не узором, а инструкцией, написанной на языке, который она не знала, но который, если присмотреться, могла бы прочитать.

Маша закрыла глаза. Открыла. Закрыла снова. Думала о Москве. О Серёге, который не ответил на последнее сообщение. О матери, которая, наверное, уже налила первый бокал и говорит подруге: «Я справляюсь. Я — сильная женщина». Об отце, который смотрит телевизор и делает вид, что ничего не происходит.

Одеяло колело подбородок. Под окном скрипнула половица — сама. Без ветра.

Сон пришёл не так, как приходит обычно — не подкрадывался, не накатывал, не убаюкивал. Он просто вырубил свет. Как будто кто-то щёлкнул выключателем. Маша провалилась.

* * *

Не в темноту. В лес.

Но не в тот, который она видела на въезде в Заречье — жалкий, чахлый, с берёзками, похожими на модели с анорексией. Этот лес был другим. Настоящим. Таким, каким лес должен быть, но никогда не бывает.

Сосны уходили в небо так высоко, что Маша свернула бы шею, если бы попыталась разглядеть верхушки. Кроны смыкались над головой, как крыша, и между ними не было видно ни одной звезды. Хотя, может, звёзды и были — просто не хотели, чтобы на них смотрели. Под

ногами — мох. Мягкий, тёплый, пахнувший сыростью, гнилью и чем-то ещё, чему нет названия. Чем-то, от чего внутри — там, в груди, где обычно было пусто — что-то натянулось. Как струна, которую тронули пальцем, но не дёрнули.

И Маша шла. Не чувствуя тела. Не чувствуя ног, рук, ничего. Только запах и странное ощущение — тягучее, тёплое, — что она возвращается. Домой. В дом, в котором никогда не была, но который знает. Каждую тропинку, каждый корень, каждый камень. Как будто кто-то проложил этот путь в ней задолго до того, как она родилась.

Вокруг кружились вороны.

Много. Чёрные, большие, с умными глазами — слишком умными для птиц. Они не каркали. Они разговаривали. Низкими, гортанными голосами, как бабки на лавке. И Маша почти понимала. Почти. Слова были знакомые, как мелодия, которую слышал в детстве и забыл — помнишь только ощущение, а не музыку.

Тропа вывела на поляну, и Маша остановилась.

Дуб.

Не дерево — событие. Огромный, такого размера, что Маша не могла охватить его взглядом. Кора глубокая, морщинистая, как лицо старика, который прожил тысячу лет и помнит всё. Ветви толстые, как руки великана, тянулись к небу. В молитве? В проклятии? Маша не поняла. На ветвях висели красные, белые, чёрные ленты, и что-то ещё, похожее на кости. Маленькие. Птичьи. Или не птичьи.

Под дубом сидела баба Вера.

Но не та баба Вера, которую Маша знала. Не старуха в застиранном платке и халате, который помнил Брежнева. Эта была другая. На ней длинный чёрный балахон, расшитый серебром, и серебро не отражало свет, а светилось само. В руке — воронье перо, длинное, с острым концом. От пера шёл вес. Не физический — другой. Как будто от одного взгляда на него становилось тяжелее дышать.

— Ты готова? — спросила баба Вера. Голос был не такой, как днём. Глубже. Многоголосый. Как будто говорили несколько людей одновременно, и каждый — баба Вера, но из другого века.

— К чему? — Маша сглотнула.

— К тому, чтобы принять то, что ты есть.

— А что я есть?

— Не Маша. Не Мария. Не «трудный подросток», не «проблема общества», не «головная боль родителей». Ведьма. Последняя в роду.

Последняя. Слово упало, как камень в колодец. Маша ждала всплеска. Не дождалась. Колодец без дна.

— Я не хочу, — сказала она. И тут же поняла, что врёт. Не «не хочу». Боится. «Не хочу» — это щит. Маша пряталась за ним всю жизнь: не хотела учиться, слушаться, не хотела быть, как все. А на самом деле хотела. Хотела так сильно, что ломала всё вокруг, потому что не знала, как хотеть правильно. Не умеючи хотеть — это хуже, чем не хотеть. Это как давать газ, не зная, где тормоз.

— А кто хочет? — баба Вера усмехнулась. И на секунду её лицо стало молодым. Красивым. Чёрные волосы до пояса, тёмные глаза, кожа гладкая. И Маша увидела, какой баба Вера была. И какой могла бы стать сама. И от этого стало страшнее, чем от всего, что было до. Потому что надежда — это страшнее отчаяния. Отчаяние — это дно, на котором лежишь и знаешь, что ниже некуда. Надежда — это лестница, по которой можно подняться. Но можно и сорваться.

— Никто не хочет, — баба Вера снова стала старой. Молодость исчезла, как тень от облака. — Но сила не спрашивает. Она просто есть. Как земля, как небо, как смерть. Можно не хотеть. Можно отрицать. Можно сбежать. Но от себя не убежишь. Ты уже пробовала.

— А вы? — Маша смотрела на старуху, которая снова была старой, морщинистой, с тремя зубами. — Вы справились?

— Я научилась договариваться. — Баба Вера улыбнулась так, что стало ясно: улыбка у неё платная. — С духами, с лесом, с собой. Не «справилась» — приспособилась. Но ты сильнее меня, Мария. В тебе кровь не разбавлена. Городом, страхом. Ты — чистая.

Она подошла. Маша хотела отшатнуться. Ноги не слушались. Она стояла, как вкопанная, и это не было метафорой — земля держала. Как мать держит ребёнка, который не хочет стоять, но должен.

Баба Вера коснулась лба пером.

Жжение. Не боль — другое. Разряд. Электрический, от макушки до пяток, и в нём было всё: страх, радость, злость, тоска, и зверь — тот зверь, что жил внутри и метался в клетке, — и дверь, которая приоткрылась вчера, и темнота за дверью, и дыхание в темноте. Всё смешалось, вспыхнуло, и — погасло. Осталось тепло. Глубокое, живое, как пульс.

— Помни, — голос бабы Веры был уже далеко, из другого конца коридора. — Сила не прощает слабости. Не научишься управлять — сожрёт. Буквально. Твоя бабка не справилась. Умерла в тридцать. Сгорела изнутри. Мать испугалась — задавила. Теперь ты.

Ворон на плече бабы Веры каркнул. Коротко, резко. Как будильник.

* * *

Маша открыла глаза.

Темно. Часы били три.

Во рту стоял вкус ночного отвара — горький, как будто она только что пила. И пот был прохладный, липкий, между лопаток. Ровно там, где через минуту она обнаружит руну.

За окном — ни луны, ни звёзд. Чернота, как будто кто-то выключил свет во всём мире и забыл включить.

И — ощущение. Липкое, чёткое, невозможно отчётливое: кто-то смотрит в окно.

С той стороны, где нет ни подоконника, ни ставней. Оттуда, откуда в нормальном мире смотреть не из чего. Маша поняла это вчера, но теперь поняла по-настоящему. Тем местом, где у животных встаёт шерсть.

— Борисыч, брысь! — с крыльца, как выстрел, баба Вера. — Вечно ты подглядываешь. Не на баб смотри, на мышей!

Маша подошла к окну. Тихо, босиком. Доски скрипели, и скрип казался оглушительным. Выглянула.

Кот.

На подоконнике, снаружи. Чёрный так, что казалось, из окна вырезали кусок реальности, и на месте — дыра. Абсолютный. Без пятен, без бликов. Один глаз — жёлтый, яркий. Второй — бельмо, мутный. Но здоровый глаз смотрел на Машу. Не как кот смотрит на человека — как на мебель с кормом. Как будто знал её. Как будто ждал. И в глазу — оценивающее. И насмешливое. Чуть-чуть. Так, что хотелось дать коту по морде, но нельзя, потому что он кот, и у него один глаз, и это нечестно.

— Ты чё, реально ведьмачий? — спросила Маша у кота.

Кот фыркнул. Выпустил звук, который означал примерно: «А ты реально городская? Ну, идиотка». Спрыгнул с подоконника и исчез. Без звука. Как будто земля его проглотила. Или он был, но не там, где казалось, а везде одновременно, как вай-фай, который ловится, но не виден.

Маша отошла от окна. Подошла к зеркалу — маленькому, старому, в деревянной раме, висящему между вышитым полотенцем и иконой.

Сняла футболку. Повернулась спиной, через плечо пытаясь разглядеть лопатку.

На коже — царапина.

Знак. Сложный, с завитками, с линиями под странными углами. Руна — но не та, что гуглили её знакомые «славянские язычники» в меховых жилетках. Другая. Настоящая. Кожа

вокруг — припухшая, красная, но не болела. Горела. Как будто кто-то прижал к коже раскалённый гвоздь и держал — ровно столько, чтобы оставить след, но не сжечь.

— Твою мать, — прошептала Маша.

Она повернулась. На кровати, свернувшись калачиком, на её подушке, которую она точно поправляла перед сном, спал Борисыч.

Дверь — закрыта. Окно — закрыто. Печь — закрыта. Кот — внутри. Маша не слышала, как он вошёл. Он просто — был.

Один глаз приоткрыт. Жёлтый, хитрый. В нём читалось: «Ну что, попала, городская?»

Маша показала ему средний палец.

Кот фыркнул. Не обиделся. Прищурился, уткнулся носом в хвост. Дескать: мне-то что.

В дверях возникла баба Вера. В халате, поверх — платок, накинутый на плечи. Взглянула на Машину спину так, будто знала, что там, ещё до того, как Маша узнала.

— Метка, — сказала она. — Родовая. Это хорошо.

— Это хорошо? Я проснулась с выжженной спиной, у меня в кровати кот с одним глазом и меня, кажется, записали в секту. Что здесь хорошего?!

— Тебя записали не в секту. Тебя записали в род. — Баба Вера кивнула на кота. — А спину спрашивай с него. Это его работа.

— Работа? — Маша посмотрела на кота. Тот смотрел в ответ, не мигая.

— Перо, — сказала Маша медленно. — Во сне. Вы коснулись им лба.

— Воронье, — баба Вера сказала это так, как говорят «мука ржаная». — Проводник между тут и там. Такое не носят и не берегут: само ходит, само приходит. Налетело ко мне на ночь — значит, ночь была воронья.

— То есть это вы мне записали?

— Я записывать не умею, — баба Вера развела руками. — Лечить — умею. Говорить — умею. Ругать — тем более. А записывать в род умеет только род. Или тот, кто при счёте стоит. — Она кивнула на кота. — До срока сила принимается только во сне: пока спишь — не споришь. Вот он и положил тебе метку, пока ты спала. Спину спрашивай с него. Это его работа.

— А почему на спине?

— Лицо показывают всем. Спину показывают только своим, — баба Вера шагнула ближе и посмотрела не на Машу, а за неё, между лопаток, туда, где горела руна. — Руна на спине — запись в счёт. Счёт наш род ведёт не в тетради. Его дуб ведёт: одна отметина на каждого, кто держал. Свежие горят, старые седеют, самые старые — разглаживаются. Теперь твоя будет гореть.

Маша подумала, что она уже третья в этом счёте, которую видела. И первая, которую чувствует на собственной коже.

«Что за бред? Может, это просто горячка? Или я ударилась головой, когда падала с автобуса? Нет, метка настоящая... Но ведьм не существует! Это всё совпадения. Завтра пойду к врачу, проверю спину. А баба Вера — просто сумасшедшая старуха с тремя зубами».

— А глаз его? Почему один?

— Потому что второй он оставил в Нави. Когда выводил меня. Заплатил. Духи не берут просто так. Всегда плата. У Борисыча — глаз. У меня — три зуба, оставшиеся ты видела.

Баба Вера оскалилась. Маша подумала, что если бы бабку показывали в кино, оскал сопровождался бы драматической музыкой и зумом камеры. Но музыки не было. Была только тишина, и пахнущие травами стены, и кот с одним глазом, и всё это вместе было настолько далёким от её московской жизни, что казалось, будто она провалилась в книгу, которую кто-то написал неправильно, но убедительно.

— Сначала их было пять, — продолжила баба Вера. — Два я отдала, когда лечила деда Гришу от рака. Он не знает, но я знаю. Сила требует жертвы. Всегда.

Маша смотрела на свои руки. Потом на спину, которую не видела, но чувствовала — тёплую, как ожог от пера. У кота — глаз. У бабки — зубы. У прабабки, судя по всему, была вся оставшаяся жизнь.

Счёт, за который не платишь деньгами, — самый дорогой счёт на свете.

— Спи давай, — баба Вера вышла, и в дверях остался запах трав и дыма. — Завтра крапива ждать не будет. Она вообще ничего не ждёт. Она жжёт.

4. Крапива учит

Баба Вера разбудила Машу в шесть утра. Голосом.

— Подъём, поганка. Коза ждать не станет.

Маша приоткрыла один глаз. За окном светало туманно и безнадёжно, как в операционной перед наркозом.

— Который час?!

— Утро. — Баба Вера вышла из комнаты. Разговор был окончен. Голос у неё работал так: сказал — и закрыл, как дверь на щеколду.

Дальше последовал огород. Огород оказался не «полить цветочки», а войной на три фронта: репа, лук и то, что Маша приняла за сорняк, а баба Вера назвала лекарством. Все три армии были зелёные. Это Машу не спасало.

— Эта — сорняк. Эта — лебеда. Эта — спорыш. А эта... — баба Вера ткнула кочергой в крапиву, — эта тебе уже знакома.

— Крапива, — сказала Маша. — Догадалась. Она первая.

— Догадалась. — Баба Вера хмыкнула тремя зубами. — Теперь здоровайся.

— Чего?

— Здравойся. С крапивою. Каждый раз, когда мимо пойдёшь. Поклона не надо — слово давай.

Маша посмотрела по сторонам. Курица. Петух. Облака. Свидетелей не было.

— Здравствуй, крапива, — сказала она шёпотом. И потрогала стебель — через силу, как трогают выключатель, когда не уверен, что сработает.

Крапива не ожгла.

Вообще. Лист задел запястье и отпустил — вежливо, как чужой в лифте.

Маша потёрла руки. Не от ожога — от гордости.

«Слушай, может, я сплю? Может, это всё нереально? Крапива не жжётся, старуха несёт чушь про силу... Ты вообще существуешь или это плод моего воспалённого воображения?»

— Я гений, — сообщила она бабе Вере.

— Ты городская, — поправила баба Вера. — Гений не жуёт гадость, как ты.

Маша решила не отвечать. У гениев есть право на молчание.

Козу звали Гадость.

— Почему Гадость? — спросила Маша, когда её втокнули в хлев.

— Потому что Гадость, — сказала баба Вера. — Имя дали, когда она годовалая была. С тех пор она его отработала. С процентами.

Гадость лежала в сене и смотрела на Машу жёлтым зрачком — не как коза на человека, а как кредитор на должника. По Маше это было понятно. Она сама последнее время смотрела на жизнь так же.

— Доить будешь, — сказала баба Вера и вышла. Не «научу», не «покажу». Просто констатация факта.

«Нет, это слишком странно. Я не верю. Козы не поддаются, когда их не боятся. Это совпадение. Просто совпадение».

Маша взялась за вымя так, как берутся за чужой телефон — осторожно, но с ощущением, что сейчас будет скандал.

Гадость лягнула ведро.

Ведро загремело, молоко ушло в солому. Коза посмотрела на Машу взглядом, который на языке коз означал примерно: «Ну, идиотка». Ровно тем же взглядом, каким смотрел Борисыч. Маша начала подозревать, что в Заречье этот взгляд входит в базовый пакет.

— Держи крепче! — крикнула баба Вера с улицы. — Она страх чувствует!

— А что мне делать?!

— Как с собой. Силишься — бьёт. Перестанешь — даст.

Маша силилась ещё пять минут. Пять минут Гадость выражала своё мнение копытами, хвостом и одним очень длинным взглядом. За это время Маша успела захотеть вернуться в Москву, продать козу на мясо, продать бабу Веру в цирк и написать маме, что в деревне терроризм.

Потом выдохнула.

Просто встала. Просто положила руку. Без плана, без злости, без «щас я тебе». Как мимо проходила. Между делом.

Гадость посмотрела на неё жёлтым глазом. Подумала — Маша почти видела, как коза думает: медленно, с усилием, как телега на подъёме. И дала молоко.

— Во, — сказала баба Вера из дверей, где, оказывается, стояла всё это время. — Учись, поганка. Это первый урок. Он же — последний.

— Это почему последний?

— Потому что остальные — те же самые. С крапивой, с лесом, с собой. Урок один. Предметов много.

Маша несла ведро с молоком через двор, гордая и злая одновременно. Она проиграла драку козе.

И это была первая победа за три года.

Назавтра крапива ожгла её в том же месте. Левое запястье. Ровно там, где вчера отпустила.

— Я же здоровалась! — Маша трясла рукой, как после укола.

— Здоровалась, — согласилась баба Вера, не поднимая глаз от корзины. — А голова у тебя где была? В телефоне.

— При чём тут телефон?!

— Крапива вранья не слушает. Она вес берёт. Пока ты здоровалась для зрителей — она тебя примеряла. А сегодня проверила: запомнишь ли.

— И что теперь?

— Теперь будешь здороваться по-честному. Не для неё, а для себя. Пока с крапивой врать не перестанешь, с собой разговаривать рано.

Вечером Маша смотрела, как баба Вера рвала крапиву на сушку — голыми руками, быстрыми, ровными движениями, будто щипала не крапиву, а крыжовник.

— Чего ты рукавиц не надеваешь? — не выдержала Маша. — Я обожглась. Тебе-то за что?

— Как раз за то, — согласилась баба Вера, не прерываясь. — С незнакомой крапивой — обязательно. Рукавицы — это вежливость с чужой. Со своей — вежливость лишняя.

— А своя что знает?

— Знает, что я ей не вру. — Баба Вера отряхнула пучок о землю. — Крапива счёт словами не ведёт, поганка. Ожог — это квитанция: пришла, оплатила, ушла. Пока у тебя ожоги — счёт открыт, и это честно. У меня тридцать лет их нет. Не значит, что я её перехитрила. Значит — перестала брать у неё то, что вернуть не могу.

— А если я счёт никогда не закрою?

— Ну и не закрывай, — баба Вера пожала плечами. — Соседский счёт сразу не закрывают. Живёшь — и оно живёт. Главное — не укради.

Маша посмотрела на запястье: две светлые полосы, почти сошедшие. И поймала себя на том, что гладит их — как гладят шишку после падения.

«С крапивой врать не перестанешь». Маша завела бы эту фразу в статус, если бы у кого-то в Заречье был интернет. Но интернет ловил только на крыше сарая, под углом сорок пять градусов, в ясную погоду и по вторникам, когда планета был настроена благосклонно.

К вечеру воскресенья она поняла ещё одну вещь.

Мать звонила по воскресеньям. Всегда. Ровно после утренней смены, в восемь. Спрашивала про уроки — из тех уроков, которые давно закончились вместе со школой. Слушала ответ четыре секунды. Вешала трубку. Это называлось «переживать за дочь».

Сегодня было воскресенье.

Телефон молчал.

Маша проверила звук три раза. Написала «привет» — стёрла. Написала «как дела» — стёрла. Написала «всё нормально» — отправила.

Ответа не было. Маша положила телефон на подоконник экраном вниз и села на лавку. Крапива во дворе стояла ровно, как солдаты на параде, — и Маша подумала: может, она просто свихнулась? Может, крапива не жётся, потому что день туманный, влажный, а не потому что она «здоровалась по-честному»? Может, бабка просто впихивает ей свою шизофрению, а она, как последняя дура, подыгрывает? В Москве сказали бы — бред. В Москве сказали бы — мама, заберите ребёнка. А маме всё равно. Маме главное, что проблема решена. Борисыч лежал на подоконнике, положив голову на лапы, и смотрел на неё единственным глазом. Маша показала ему язык. Кот не ответил. Он вообще перестал отвечать на жесты — только на вопросы. Может, это тоже было частью шизофрении. А может — нет.

Она легла спать, не дожидаясь ответа — ни от телефона, ни от кота.

Глава 5. Первые клиенты

Утром баба Вера вручила Маше список. Бумага, огрызок карандаша, почерк как будто писали во время падения.

— Соль. Спички. Нитки суровые. Мука, если будет. — Баба Вера глянула поверх списка. — И улыбку не забудь. У тебя она казённая.

— У меня нет улыбки.

— Я и говорю: казённая. Будто её в магазине выдают вместе с чеком.

Магазин в Заречье один. Он совмещал в себе функции супермаркета, клуба, телецентра и суда присяжных. Причём суда самого строгого — без оправдательных.

За прилавком стояла тётя Зоя. Волосы у неё были перекрашены в такой рыжий, что его было видно из космоса. А значит — и из Москвы, где Маша была уверена, что деревня этого не заслуживает.

— О-о-о, городская! — обрадовалась тётя Зоя так, как обрадовались бы новостному телеканалу. — А я думала, ты до вторника не дойдёшь. Здесь три километра, но дорога — дура, ям нет, смотреть не на что, идёшь и стыдишься, что идёшь.

Свежий хлеб привозили по вторникам. По остальным дням продавали тот же хлеб, просто он ежедневно назывался свежим — общественный договор, как у соседей не включать перфоратор после десяти.

Маша положила список на прилавок. Пока тётя Зоя собирала заказ со скоростью, с которой в столице выдают гражданство, Маша слушала лавку у окна.

Лавка у магазина — это не мебель. Это орган власти.

— Шишов-то опять к Лукерье в огород лез, — говорила баба с платком в цветочек. — Всех по головам пересчитал. Как перепись.

— Сорняки у неё списывал?

— Сорняки-то... У неё бельё на верёвке сушилось. Он и бельё переписал. Две простыни, одна наволочка. Записал куда-то.

— А ты видела, куда он по вечерам ходит? — спросила вторая баба. Голос ниже. Тона на два.

И лавка замолчала. Резко, как врубили рубильник. Даже курица, лазившая в хвосте тети Зоиной тележки, притихла.

— Не видела, — сказала первая. Так, что было ясно: видела.

Маша не выдержала:

— А куда он ходит?

Бабки переглянулись между собой, словно поделившись неким секретом.

— Опять наш участковый по своим делам шастает, — проворчала тётя Зоя, стуча весами. — Муки, говоришь? Нету муки, дитё. Весь запас, видать, в пекарне закончился.

— А куда он ходит? — не утерпела Маша.

— Куда-куда... — протянула одна из бабок. — Туда. На кладбище то ходит, дитё. По вечерам.

Тётя Зоя резко стукнула весами:

— Не твоё то дело, девка. Не суй нос, куда не просят.

— Он не глядит на живых, — добавила вторая бабка тихо. — Только на могилы.

Маша замерла, но бабки уже переключились на следующий разговор, будто забыв о ней.

В разговорах о Шишове «туда» было географическим понятием, универсумом, куда всех тянуло и куда никто не смотрел.

Дверь звякнула. В магазин вошёл мужчина лет пятидесяти. Невысокий, кряжистый, с лицом, будто из болотного ореха вырезали, морщин много, смысла немного. На голове — кепка. С крабом.

Краб смотрел куда-то мимо. Так же, как смотрел сам Шишов — мимо всего, что не было в его уголовном деле.

— Папирос, спичек и уксуса, — сказал он. Голос деревянный. Дерево сухое.

Он взял товар, положил деньги, точно, без сдачи, и только тогда посмотрел на Машу. Долго. Снизу вверх, сверху вниз, как на опознание.

— Новая? — спросил он. Не у тёти Зои. У Маши.

— Да.

— Чья?

— Бабы Веры.

— Понятно.

Он сказал «понятно» так, как в городах произносят «я всё понял, а спрошу потом». И вышел.

Дверь звякнула за ним. Краб на кепке прощально смотрел мимо.

— Не гляди ему в спину, девка, — шепнула тётя Зоя.

— А чего?

— Он не в глаза смотрит. Он сквозь смотрит. Как будто человек — стекло, а за ним учёт. Такой человек и доброе слово запишет, и худое — в ту же тетрадь.

Маша вышла из магазина с пакетом и ощущением, что её только что взвесили. Не как вещь — как улов.

Вечером к бабе Вере пришла клиентка.

Маша поняла это по звуку: калитка скрипнула дважды — вошла чужая. Борисыч с крыльца проводил гостью взглядом единственного глаза и не двинулся. Для кота это было знаком: «свой человек». Или «неинтересный человек» — Маша пока не различала.

Гостья была маленькая, круглая, в платке того же цвета, что и собственные щёки. Баба Нюра. Колени.

— Колени, Верка, — сказала она сразу, без приветствия. — К дождю ломит. К сухому ломит. К чему ни приложи — ломит.

— Садись, — сказала баба Вера. — Поганка, чай. Нюре — с брусникой.

Дальше Маша смотрела из-за угла, честно признаваясь себе, что подглядывает.

Это была не магия из кино. Ни огня, ни звёзд, ни свечей до потолка. Баба Вера дала Нюре отвар, порубила что-то коричневое в ступке, приложила к коленям тряпицу и сидела рядом. Просто сидела, как сидят со старой подругой, и говорила о том, что у Киреевых корова отелилась, а у Матвеевны картошка в цвет пошла.

Полчаса.

Нюра уходила прямо. Почти.

— Ты чего это... бесплатно? — спросила Маша, когда дверь закрылась. На столе осталась бутылка подсолнечного масла и связка лука.

— Дается не за деньги, — сказала баба Вера, убирая ступку. — За деньги — городу. А тут счёт, который не деньгами платится.

— А как платится?

— Тем, что берёшь и помнишь. Лук — это помнишь. Масло — это помнишь. А деньги, поганка, — это как раз чтобы не помнить.

На пороге Нюра обернулась:

— А это у вас новая?

— Новая.

— Поглядим, — сказала Нюра.

И ушла.

«Поглядим» в деревне — это не «подождём». Это «уже решили, а вам не сказали». Что я вообще делаю? Лечить людей какими-то отварами? Это же средневековье! Мама была права — я сошла с ума. Надо позвонить ей, рассказать... Нет, она только подтвердит, что я спятила».

Глава 6. Хозяин

До вечера Маша ждала, что баба Вера скажет про лес. Про ночь. Про что угодно.

Баба Вера молчала. Перебирала травы на просушку, ворошила в печи угли, трижды выходила во двор и трижды возвращалась, каждый раз глянув на небо, как шеф-повар глядит на часы перед банкетом.

А потом стемнело — внезапно, как в кино по щелчку, — и баба Вера сказала:

— Идём.

Баба Вера остановилась на пороге. Завязала платок под подбородком, накинула куртку — и заговорила негромко, как говорят, когда повторяют не для другой, а для себя:

— Правила. В Навь ходят молча. Дорогу не спрашивай — неверную укажут, да ещё и с удовольствием. Что само не даётся — не брать: у тамошних подарок весит больше долга. Что далось — благодарить не словами: слова у них тяжёлые.

И Маша поднялась.

Половицы под босыми ногами скрипнули, как всегда по ночам, в одних и тех же местах. Дом вздыхал под ними, как старый человек, которого поднимают ночью по нужде. На пороге Маша остановилась: доска под левой пяткой была холодной.

— А если я заблужусь?

— Не заблудишься. Тебя поведут, — баба Вера кивнула на кота, уже сидевшего у калитки. — Правило — молчать, а не сопротивляться, когда ведут. И помни: крапива на границе — экзаменатор. Узнала — идёшь. Не узнала — ждёшь до утра. В Москве ждать ты не

умеешь, поганка. Тут ожидание — тоже вопрос. А на неправильные вопросы в Нави не отвечают.

И это было правильно. Так и должно быть. Земля в Яви холодная.

Земля в Яви честная.

— Сейчас? Ночью? — всё-таки сказала она. — Вы же сами говорили, что ночью в лес ходить — дурной тон. Даже у местных бабок тон строже, чем у моей классной руководительницы.

— У бабок — тон, — баба Вера застёгивала пальто, не глядя. — У леса — время. Пойдём. Ночь была безлунной.

Но Маша видела.

Не так, как днём. По-другому: каждый ствол был обведён по контуру, каждый камень тлел изнутри слабым зелёным — как мох, только мох был ещё впереди. Маша поднесла руку к лицу. Пальцы — свои, все десять. А вот ноги уже чувствовались как-то издалека. Не онемели. Просто — стали не совсем её.

На краю леса крапива стояла стеной. По пояс. Злорадная, как в первый день, когда Маша думала, что тут можно спрятать труп. Или банду.

Маша привычно вжалась в плечи, приготовилась — и шагнула прямо в неё.

Ничего.

Крапива не ожгла. Вовсе. Листья задели голые колени и отпустили. Маша остановилась посреди зарослей, которые днём глотали кеды целиком, и не могла понять, что страшнее: ожог или его отсутствие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.